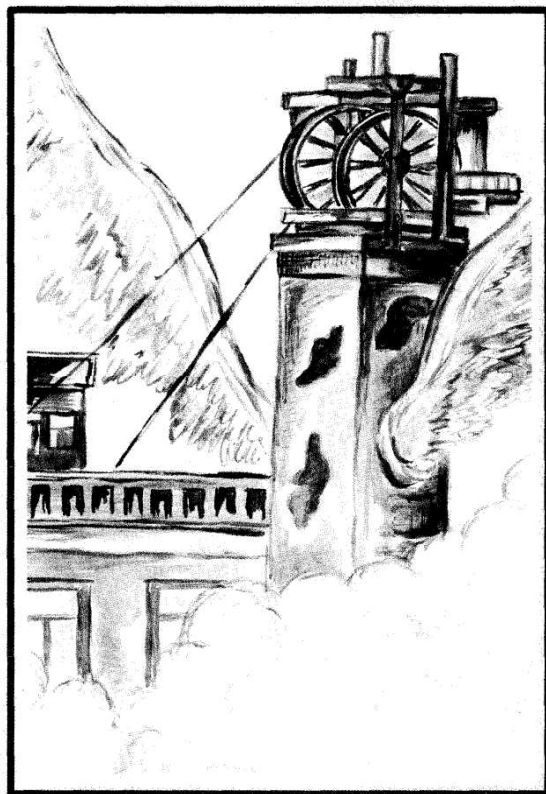


*О, Русь, взмахни крылами!...
Сергей Есенин*

МОСБАСС

*Литературно-краеведческий
народный журнал*



г. Сокольники Тульской области

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ: «МОСБАСС» ИЗ СОКОЛЬНИКОВ

Евгений Елисеев
(г. Новомосковск)

МУЗЫКАНТ
(Повесть-поэма)



Елисеев Евгений Иванович родился в 1936 г., в селе Никольское Ефремовского района. В 1939 г. семья переехала в Новомосковск. До призыва в армию в течение 5 лет работал слесарем на КМЗ. Четыре года служил комендором на крейсере «Железняков» — Северный флот. Окончил экономический и педагогический ВУЗы. Работал в институте ГИАП, исполкоме горсовета, в торговле. Как и все мои сверстники любил спорт: дрался на ринге, катил по лыжне, носился по стадионам и бездорожью. Этим, в какой-то мере, формировался характер с заполнением пустот времени. 35 лет состоял в рядах КПСС. В партии тугих кошельков вступать не собираюсь. В повести «Музыкант» события, связанные с войной, достоверны, они описаны со слов фронтовиков, упомянутых настоящими именами.

*...Будь проклят сорок
первый год...*

Семен Гудзенко

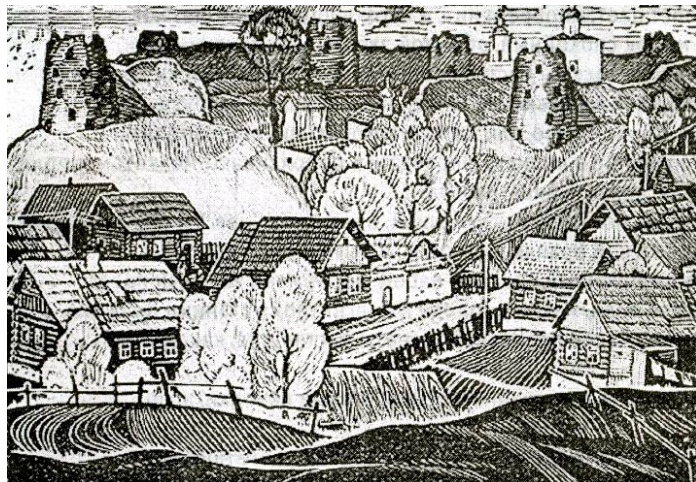
*...Далече от спасенья моего
словеса грехопадений моих...*

Псалом Давиду, 21...

I

В клубке исхоженных дорог концы схлестнулись и начала...
Но Память — истинный Свидетель, вдруг высветит забытую тропу
к порогу отчего гнездовья. А там, в сторонке, сиротливо,
стоит, счет времени забыв, мое фамильное ободранное дерево.
От бурь, свирепо отгремевших, поломаны живые ветви,
где значилась ушедшая родня.
Все чаще мысли об истоках одолевают, будто недуг,
но лень — наш Лекарь одряхлевший,
совет дает: «повремени», и сном вчерашним отлетают

в мирок спокойный, обжитой заботы новых начинаний.
И вновь тоска — Сестра потерь, ко мне предательски крадется.
Рассудок горечью наполнив, она и спящего разбудит,
напомнит о себе, как жажда, которую ничем не утолить.
Последние в копилке оправданья побрякивают мелкою монетой:
дела, долги, жилье, работа...
В душе помятой, истомленной, проснется Совесть, словно сторож,
и скотской бранью оскорбит, и вытолкнет в дорогу...
Разгоряченный крепким паром, несет меня зеленый поезд
через поля, мосты и города к «магнитной» станции Кружиха.
И семь часов дремотной тесноты растянутся, как вечность...
Знакомства, жвачки, пересуды, утиные походки, храп...
Когда я сам себе наскучу, при тусклом свете ночника
«включу» тихонько наугад колесных дисков запись.
Сквозь звуки музыки походной, ударника ритмичный стук
мне кто-то станет задавать нехитрые короткие вопросы
и странно повторять:
Как живешь? Куда ты едешь? Как? Куда?
Нет времени для дельного ответа, в плечо толкает проводник...
Тепло вагонное покинув, мне с пьедестала шаткого кочевья
открылась первобытная картина:
вставало солнце розовым ребенком с пушистой колыбели облаков
А к горизонту алому сходились знакомые мне с детства
параллели, и каждая имела назначение:
Дорога пыльная роднила, речушка живостью поила,
а выше нервы века — провода с гудящими столбами.
На них угрюмо восседали горласто ненасытные грачи,
в когтях стараясь удержать Печаль невидимых общений
людей, раскиданных далеко вращением земли...
В пути мне предстояло осмотреть «полотна старых мастеров»
эпохи помутневшего столетья.
Селения возникали чередой, в мужских и женских именах:
Дмитровка, Марьино, Никольское...
В открытых галереях улиц
мне попадались на пути земного шара пассажиры.



В одеждах скромных старики мне кланялись, выпрашивая вроде:
«Ты чей сынок? Откудова? Не худо ли живешь?»
Хотелось выбраться из плена и выкрикнуть простору:
«Позволь пройти, Святая Русь!»

II

...Отмерил километров двадцать. Так вот куда меня тянуло!
За зеленью горбатых ветел знакомых изб прескучные картины:
Те крайние, попроще да пониже, хохлов напомнили старинных,
в насупленных папах. Ограды возле них полулежали, как ребра
вымерших рептилий. Дома повыше — в глубине деревни.
Заборы зубчатой пилой смотрели остриями в небо, скрывая быт
от любопытных глаз.
И сердце вдруг забилося учащенно.
(Оно усталости не знало и вот теперь заговорило):
В далекой дымке давних лет, взбивая ту же пыль, топтались здесь
усердно предки, и мне, кто в долгой перекличке
по списку значился последним
оставили в наследство Память.
Видения нарушила крестьянка... Всплеснув усталыми руками, она
шажками затрусилась ко мне навстречу, причитая:
— Ох, батюшки, кого! Кого я вижу! — Она преподнесла мой лоб,
как чашу с редкостным настоем, к дрожащим выцветшим губам,
пролив две светлые слезы по сморщенным щекам.
Родную тетку — надо ж — в тетке не увидел...
И лишь в глазах улавливал я смутно далекую родимую похожесть на
всех родных, которых знал иль помнил. В обнимку в дом вошли.
Притихшее нежданное «застолье»
пытливо оглядело гостя — по-деревенски,
не таясь, и прямо, как говорится: «с поезда на бал»,
попал на праздник деревенский
(не знаю, по какой причине его не занесли в наш календарь...)
Но главное, что в шумном многолюдье,
все оказались сплошь — моя родня.
В хмельной беседе оживленной кто браткой звал,
кто кумом назывался.
(Кум — тоже ведь родня не из последних).
За добрым тем столом мы пили что-то мутное, лихое:
За встречу, за здоровье и за тех, кто должен быть, да только не был
И никогда, да, никогда не будет... на земле...

* * *

Я видел женщину напротив, худую, с головой полуседею:
казалась странной эта седина, она как будто пополам делила
не только гладкую прическу, но и поблекшее до времени лицо.
С ней рядом был двоюродный мой брат.
На старомодном борте пиджака его
медаль желтком яичным приютилась...
Та женщина — напротив — говорила, с оглядкой в прожитые годы:
«Вот если б мне сейчас сказали, что Гришенька мой ожил...

Под Курском, там... без рук, без ног...
Ползком к нему, на четвереньках, одним мизинчиком отрыла бы и
отогрела... только бы живой.
И тут же осушила стопку. И, скорбно глянув на медаль,
она добавила со вздохом:
«Ты б, Вася, милый, заходил... хоть покурить, тоска заела...
Все в доме мужиком...»
Украдкой глядя на меня, всплакнула тетка, наклонившись,
затеребила кончики платка, что я ей повязал лишь час назад...
Ей, как и всякой ожидающей вдове, припомнилось соленое житье
и невозвратные потери.
В родном краю и горе через край, и горькой через край налито.
Я встать хотел, смотреть не в силах, но тут запела девушка.
Невзрачная лицом: широкий рот, глаза к тому ж — раскосы!
Такие, как ведется, не в почете у сельских ухажеров записных.
И я б ее и взглядом не отметил, вдруг не запой она...
И тут же подхватил сидячий хор. Но среди усталых голосов
ее свободный голос выделялся — летел, парил, грустил и ликовал.
Все пели за столом, но мне казалось, что только эту девушку
я слышу,
поющую про горы золотые,
и сразу же, почти без передышки,
«засветит» вдруг старинную «Лучину», сгорающую так же быстро,
как бабья радость...
И девушка менялась на глазах: взамен бесцветной, некрасивой,
сидела та, которой любовались.
Мы были к ней всего лишь приложением нескладного застолья
подпевал.
Как пела девушка! Казалась песня воздухом ее, открытием,
прозреньем тайны, той тайны, что зовется на земле
среди русских женщин — девичьей неделей...
И вспомнил я ту канувшую встречу
и пляж у Петропавловской стены...
...Я в самоволке по случаю ремонта корабля.
Жуть захотелось песочного тепла.
Отведав Баренца сверх свежих сквозняков,
где битый год мы терлись борт о борт с чужими кораблями
и в обоюдном страхе, боясь услышать слово «Товсь».
На том и кончился мир всполошивший кризис...
... Среди лежища дремотного покоя я нежилась на солнце
в забытыи.
Послышался мне детский плач, на беззащитный всхлип похожий.
(Такой же, как у тетки за столом...
от безысходной скорби тихо-тихо).
Я стал высматривать ребенка, увидел круг мальчишек,
один в прокисшей лужице стоял и никого не звал на помощь.
А горстка белобрысых огольцов, лет трех не более от роду,
в ровесника восторженно кидали, стараясь тиной попасть...
(А их родители, резвясь, не видя ничего, стояли на коленях,
в земных поклонах отбивали во славу подкидного дурака).

Бесштанную пиратскую братву я разогнал,
 умыл в Неве мальчишку,
 с испугом он глядел по сторонам, меня ручонками обняв.
 И я увидел, в чем его «вина». Была с изъёмом верхняя губа,
 немного коротка, чтоб зубики прикрыть торчащие наружу...
 И вот «как все» — ровесники его жестокому подвергли остракизму.
 Как будто был пришельцем он опасным
 с планеты им враждебной...
 Тогда я мысленно негодовал: «Скажи, жестокость, кто тебя посеял,
 что ты в младенчестве взошла?»
 И вновь за этим песенным столом
 во мне вопрос тот давний всколыхнула,
 как солнца луч, прорезал толщу осенней мокрой черноты:
 «Кто в многоликости людской грустящих, плачущих, поющих
 пошлет везения таким иль крепкого ума, а может, и таланта,
 чтобы восполнилась природная оплошность?!»
 Я мыслью поделился с теткой, а та, слезу косынкой осушая,
 безмолвно показала мне на сына (того с медалью, Васю-инвалида), и
 тут же посмотрела на его клюку, с резной собачьей головой.
 Казалось, будто пес смотрел в окно и деревянной головою думал...
 о деревянной Васиной ноге...
 И кажется, в тот миг я что-то понял, протрезвел и огляделся,
 и стал прикидывать натужно: «В каком же веке здесь живут!»
 Пол земляной, прикрытый кружевами тертой толи, сосновый
 самодельный стол — свидетель редких свадеб, но поминок частых,
 три лавки возле стен, сундук, большое зеркало с автографами мух,
 в плену у сотни рыжих фотографий.
 В углу лампадка с капелькой огня, дающая тепло и свет святым
 и грешным,
 и печь — лежанка в треть избы.
 Не густо благ отпущено всевышним, но на лишения,
 За исключением людских потерь, не сетовал никто.
 И разошлись как по-некрасовски: «Лунным светом облитые», повторяя:
 Другие живут еще похуже.

III

А утром тетка, напоив меня парным и пенным молоком, как на поклон,
 торжественно свела к громаде — тополи в соседнюю деревню.
 Шумел вся округа патриарх, могучей, закрывавшей небо
 шевелюрой
 В его тени мы молча постояли, почуяв всю никчемность слов...
 Мой взгляд остановился на черемухе цветущей.
 На красной «клумбе» щепня она спокойно приютилась,
 светясь чистой белизной.
 Недалеко от бывшего жилья колода серых бревен, «журавль»,
 скрипучий и горбатый взирал в глазницу гулко колодца.
 Я не заметил, как один остался среди «развалин детства»,
 похожих на старинную печать больших размеров
 в свидетельстве отживших предков на нестареющей земле...
 А уходя, как будто бы на память, не думая об этом, машинально,

Я поднял из травы обычный камень — замшелый розоватый
талисман-частицу развалившейся стены.

IV

Меня в дорогу провожало семейство голосистых петухов.
И долго-долго позади я слышал по-птичьему разливное,
«О-бер-ни-ись!»
До станции всего мне предстояло, со слов родни,
верст восемь напрямиком, коль через лес — натоптанной тропею...
Я шел беспечно по тропе петлистой, купаясь в майских запахах
листвы,
Но вот запахло сыростью болотной, туман пополз в овражки
и низины.
День «светлость» поменял на «серость».
Казалось, прошлогодняя трава лениво истлевала и дымилась...
Клубились под ногами «облака», и я по ним вышагивал, как бог,
и, как младенец, радовался чуду. Туман все выше поднимался,
хватаясь за кусты и поглощая их.
Сомненья и тревога подкатили, тропа исчезла как-то незаметно,
четвертый час был на исходе, и восемь верст давно б пройти пора.
Уж ватный цвет осиливал зеленый, уже трясиным бездорожьем
топал,
И сырость хлюпала в ботинках. Хотелось на макушку дерева
залезть
и воздухом прозрачным подышать иль поскорее убежать из этой
«прямиковой» западни.
Споткнувшись о корягу, растянулся и, обругав свою неловкость,
побрел, доверившись удаче, как доверяет загулявший кучер
искать дорогу другу своему...
Да жаль, удача на сегодня не скорый конь, а тихая улитка.
Туман от ветерка слабел и, уползая, в кустах оставил
он от огорченья
лохмотья редкие да капельки обид на голубой листве.
Темнело. Казалось, что не раз я эту местность проходил,
в глазах всплывали мутные круги в зеленой кружевной оправе.
Пора искать приют. Постелью стала мне подстилка
из сосновых шишек,
а лапник ели — вместо одеяла...
Лжет тот бесстыдно, кто твердит, что в дебрях полуночных страха
нету.
Плач тут иль хохочи, казалось, кто-то смотрит на меня и дышит
тяжело.
А треснувший сучек услужливо рисует сцены...
Пытаюсь развести костер (извел десяток спичек), и вот он
встрепенулся,
как верный пес, лизнул горячим языком хозяина в лицо...
На лежбище колючем не уснул.
Чуть засветились облака, как ветреный рассвет
собрал лесных певцов на состязанье.
Туман исчез, но оставался в голове туман.

Еда — ничтожна перед жаждой, но пить болотную не мог.
Когда ж у края илистой низины я повстречал ничейный родничок,
не удержавшись, шлепнулся с размаха в него восторженным лицом
и втягивал ознобную прохладу, пока не ощутил всем телом холод.
На четвереньках стоя у воды, я заприметил узкую тропинку
(с ладонь — не больше — шириной).
По зарослям орешника петляя, она вела — я это знал! К жилью!..
Полянка сонная открылась, на ней, по виду — теремок,
А ближе — с тростниковой крышей ленивая изба.
Похоже было, что в избушке, поставленной поспешною рукою,
отшельник проживает, спасаясь от гнетущей суеты...
Пятак цветущих диких яблонь, что возле дома приютились,
напомнили
старушек модных, что наподались некстати, а огород
со вскопанной
землей на мысль навел: хозяин где-то рядом.
Толкнув незапертую дверь, я увидел у мутного оконца
лежащего на лавке старика.
С полуоткрытыми глазами дремал он в обществе поющего сверчка.
Под головой седою и кудлатой — подушку заменяла телогрейка,
на босу ногу — грубые ботинки, что некогда мы звали «ЧТЗ».
Старик, чуть повернувшись, лицо потер клешнятою ладонью,
как бы не веря приходу моему.
— Каким ко мне, соколик, ветром?
— Да не попутным, батя, заплутал...
— А сам-то чей и по нужде ли играешься с лукавым в топах?
— спросил старик, почесывая ноги, и заворчал, ответа
не дождавшись:
— А я ведь ждал тебя вчера.
Мне птицы весть подали, что в хляби наши пожаловал чужак...
Никак ты новый землемер?
Через недельку, да при ходьбе хорошей, ты мог бы осчастливить
своим приходом Брянск.
— Отец, потом... мне что-нибудь поесть, хоть корку хлеба,
сделай милость.
Дед вперевалочку к печурке подался, чумазый чугунок с картошкой
Он бодро стукнул — на широкий пень, что средь избы стол заменил.
— Ты прав,— сказал он,— подкрепись, обсохни, потом поговорим...
— У вас здесь не места — а западня, два дня разыскиваю выход...
— И никого не повстречал? — спросил старик и как-то странно
глянул.
— Ну, как же, дед, встречал: то день, то ночь, то птицу, что не спит,
проухала,
со мною забавляясь. Поверишь поневоле в нечисть!
То захохочет — что мороз по жилам, то зарыдает,
как на похоронах...
Перекидал в нее все головешки.
Старик как бы встревожился: «Еще, кого еще встречал?»...
На месте стал топтаться, как зверь вынюхивая воздух.
Проковылял к двери зачем-то, с опаской непонятной в лес смотрел,
как будто рядом притаилось живое существо...

— Какая с виду птица-то? — Такая ж серая, как ты...
Его заросшее лицо брезгливая гримаса исказила.
И весь он, скособоченный и злой, как будто изготавился к прыжку,
Вращая звероватыми зрачками...
Я пожалел, что высказал неловко: «Да ты не злись, отец, я ж пошутил...»
Он как-то весь обмяк, на лавку сел, потряс нечесанностью сивой,
И засопев, как малое дитя, стал имя странное твердить.
И крючьями-руками разводя, как будто воздух разгребая,
Затрясся телом всем, понес несвязно чепуху.
Про дом кирпичный на бугре, который был, которого не стало...
И поменял давно на этот вот шалаш.

VI

Что, что это за люди?! Поплыли, замелькали лица...
И девушки на грядках сажают, вроде бы, сирень.
Сажают молча, увлеченно, как будто зарывают в землю
не корни молодых растений, — тоску стараются зарыть.
Сосед — подранок лейтенант подносит к девушкам рассаду.
У Юры золотистые погоны на ладном кителе зеленом
и сапоги, как водится, гармошкой, но до чего ж чудна походка?
Он при ходьбе трясет ногами, как от налипших комьев грязи.
И старухи, какие-то старухи, с оглядкой тихо говорят:
— Походка — факт, до гробовой доски Меркулову трястись.
Среди деревьев замечаю отца Володьки — своего дружка.
Он ковыляет на протезах, как будто в жутком реверансе,
Поклоны встречным раздает...
Приветствует его, согнувшись, высокий Гриша Задорожный
То спрячет голову в ветвях, то низко наклонит ее,
Пытается он как бы рассмотреть потерянный предмет.
А это кто шагает напролом? Как будто никого не замечает.

Идет, как ходят... босиком по снегу... приподнимая высоко колени
Его я узнаю — танкист Липесин... с лицом в чернильных кляксах.
Уставился он пристально на солнце,
А вместо глаз — пустые лунки...
Ему навстречу катит морячок, но только он без ног.
Тележка — «вездеход» пристегнута ремнями.
Он стержнями колотит по асфальту, спешит — торопится Серега.
И вдруг затормозил... И по привычке поправил потную прическу,
И покатил в обратном направлении.
Мне показалось, будто он припомнил, наконец:
Что где-то за углом оставил свои ноги.
Сейчас найдет, приставит их и выйдет на своих двоих,
веселый и красивый, во весь свой бывший рост...
Вот грохнулся всем телом Жижин — контуженый гигант
артиллерист.

А двое его малых сыновей (как бы нарушив правила борьбы)
стараются прижать к земле лопатки великана.
Поняв «игры» зловещую нелепость заголосили вдруг:
— Ну, пап, не надо, па-а-п-ка-а!..

А тот с кровавой пеною у рта — за что-то бьет затылком землю...
 Над ним хохочет... Коля дурачок...
 В своей шинели, длинной не по росту,
 Как призрак мечется в поселке, и днем, и ночью хохотом, как воем,
 наводит страх не только на детей.
 Мне однокашник рассказал, что Коля был разведчиком когда-то.
 Теперь уж вряд ли кто узнает, что с ним произошло...
 Я как бы вижу спину уходящего отца. С простреленным плечом —
 Большой, небритый, строевым спешит на перевязку...
 И я кричу: «Остановись, дай руку!» Отец, не обернувшись,
 грубо говорит:
 — «Теперь ты сам, сынок!»
 До гроба не забуду это «сам» — щепотка букв, а весит сколько!
 Под тяжестью ее потом я постигал сутулости секреты.
 Отца мне не понять, его как будто подменили, он здесь и где-то там,
 ругает докторов: «Лечение, гады, затанули».
 Ворчит и сетует: «Снарядов маловато к пушкам...»
 На станцию иду, зачем — не знаю... скорее, в поисках еды.
 Со стен повсюду грозные плакаты: Суворова, Кутузова портреты.
 Напротив боевые ордена во всю грудь дома...
 И рядом, на другой стене — в два этажа картина —
 Босая девочка (на фоне пепелища) застыла в крике:
 «Папа! Убей немца!»
 В товарных вижу их воочию... И не звериные по виду лица,
 тех первых пленных — из «Московского котла...»
 Они в застывших позах, не выдержав атак
 и лютого славянского мороза,
 Сидят в вагонах стылых, не ждут ничьих команд.
 И нет во мне ни жалости, ни страха, глазею отрешенно,
 на человеческий гербарий...
 ...Я на колхозном рынке городском, уныло пробираюсь
 среди рядов
 неспрадно гудящей толчеи...
 махра в мешках, игрушки-безделушки на прилавках, семечки,
 из стружек крашенные мертвые цветы...
 И женщина, прижав к груди, — не оторвать — буханку хлеба
 (ценою непомерной — две зарплаты)...—
 И голодяги — огольцы вокруг нее, глазами поедают драгоценность.
 И нищие галдят наперебой, и в неприветствиях протянутые руки.
 И всюду инвалиды, инвалиды...
 Не рынок — выставка корженных людей.
 Каким крушением планет забросило калек на рыночную площадь?
 Безногий с «козьею ножкой» с тоской хрипит счастливицу,
 (ведь у того всего лишь нет руки), что у него от близости земли
 багровые круги в глазах летают, а горизонт он видит только —
 пыльным...
 на двадцать мужиков — семнадцать ног...
 Я насчитал... под визг гармошек пьяных...
 Затмение нашло: сцепился некий с кем-то...
 И кровь солдатская взбесилась вперемешку с донорской кровью,
 и дикий мат выплевывает разбитый рот.

И чей-то крик, как будто с преисподней: «А ты горел, гад,
на броняшке?»
От этого я крика просыпаюсь? Или ныряю в явь иного сна?
Куда, куда девались эти люди?..

VII

Лежу в избе, знакомой чем-то. Слепит из тусклого оконца
глаз воспаленный предзакатного светила.
Все, значит сон и бред! И сколько ж я проспал?!
Я вышел на порог и огляделся. Так-так! Вон — дед...
Колдует в огороде над чем-то суковатую лопатой.
Он с явною охоткою копал, гнусавя старенький мотивчик...
Меня увидев, словно посветлел, заволосевший рот развел улыбкой:
— Ну, и здоров ты, малый, придавить!
— А сколько ж я проспал? — Туда — сюда — на третьи сутки
перебрался.
— Поесть бы на дорожку, старина, пора спешить, просрочил отпуск.
Старик держась за спину, проворчал:
— Ты днем блудил — куда ж подашься на ночь?
Войдя в избу, все тот же чугунок, но с кашей пшенной поставил на
пенек.
Сам есть не стал... Глядел в окошко молча...
— Питаться бы картофелиной в день — я начал, как бы между прочим,
Я был бы горд и независим.
А то ведь столько подношений желудок требует...
— Да сломай хоть пяток, уж этого добра хватает!
И будь пять раз свободным...
И надо ж так — цыганская свобода... рваньем трясти перед
людьми
и мнить себя свободным — для безделья?!
А впрочем, тоже труд внушать пустой башке,
что от забот она свободна...»
Наперекор, стараясь вызвать старика на откровенность, вставил:
— Ты, батя, странный человек, а может, мудрый, а может, ты другой.
Я знаю, дед, кто молодым черпает удовольствия лопатой,
тому под старость нечего черпать...
Не пустота тебя ли загнала? Иль что-то посерьезней гонит
в берлогу поиграть в молчанку?.. Дед не разгневался:
— Шустер ты, братец! В дверь вошел, а выйти норовишь в окошко...
Мы вышли из избы, старик ворчал: чего-то стынет левое плечо,
Давай-ка разведем костер, чтоб не затухнуть разговору...
Присели у огня, дед продолжал: — Какая разница — где киснуть?
В лесу ли, в городе, в деревне?
Ты разве в шумных городах не замечал унылых одиночек?
Они в толпе — как щепки в половодье. Кто нужен им?
Кому они нужны?
Я в городе не стал бы куковать, где вечно суета да маята,
кого-то кто-то выручает, просит. Делячество кругом,
кричи — к душе родной не докричишься...
Да и природа в городе дурна, где летом зеленью своей

деревья прячут обшарпанность домов.
Ну а зимой дома скрывают наготу деревьев.
А здесь, как на ладони, видно: кто есть кто.
К примеру, вот, не обижайся, что ты за птица мне понятно...
— Давай отец! Люблю когда без дипломатичных штучек!..
— Коль любишь — слушай, словечко лить — не лес валить.
Ты, парень, погляжу из тех,
которым по душе обидчиков себе искать...
Знакома мне порода эта. Она всегда и всеми недовольна...
А я не лгу — стерегся тех людей, подобных тем дворянкам
неуемным,
Что за день — хоть кого-нибудь да тяпнут.
А о себе скажу: меня здесь нет. Я — воздух, оболочка, пустота...
Считай, живым не значусь — в списке...
— Все это разговоры, дед. Ты, вроде бы, не презираешь свидетелей
слепого заточенья, тогда зачем сторишься людей?
Дед покачал линиялой сединой и продолжал с печальной досадой:
— Ты так и не смекнул, хоть не дурак, что для ума —
все двери настезь,
но хитрость ищет тех, которые забыли запереть.
Мне, парень, нечего скрывать ни от тебя, ни от себя — тем боле.
И, слава Богу, я не задолжал, а главное — мне никто не должен...
А падать? — Падал, лишь однажды... Крепко...
Я вижу, что не тот ты чистоплюй, что на миру и в грязь «с народом»,
кляня «народ и грязь» наедине...
тебе скажу, хоть непонятно... скажу, что на сердце слежалось.
Молчал я долго, как пенек...
Тебя толкает любопытство потрогать... вещь до срока...
Но попусту не трогай... пустоту. Не приведишь в ней оказаться.
Попробуй в яму заглянуть, потянет дно ее увидеть...
Понятно, что не каждому дано, то чувство пережить, когда...
В своей же пустоте душевной ты ищешь выход, мечешься,
последнюю
примериваешь петлю, летишь вниз головою в пропасть, кидаешься
под проходящий поезд... и все же остаешься жить.
Таков он слабый человек, что попадая в безысходность,
любому начинает
верить бреду, лишь только б он вселил в него ничтожную надежду.
Вот ею жил, да и теперь живу.
Заходишь в дом чужой и объясненья просишь.
Ну что ж, поговорим, откроем откровенья откровеньем
Вот видишь ту сосну, сухую, с раздвоенным стволом,
похожую на лиру?
Иди, послушай, а после скажешь мне, о чем молчит
Она в своих заботах деревянных?
Я подошел к сосне, как бы приклеился к стволу.
— Что может мертвая сказать, была б на ней табличка?
— Тогда ходи сюда...
Мы подошли к цветущим деревьям.— Потрогай ветку, тронул, ну?
— Пульс дерева почувствовать ты должен! Почуял — нет?
Не проведешь!

Я лишь пожал плечами и с усмешкой от яблонек цветущих отошел
А он к сосне отправился рогатой.— Послушай, бедный человек,
неужто ты не слышишь звуков, что в поднебесную летят?
Хошь, их на зов земли пошло в обратном направлении?
Он руку приложил к стволу:
«Теперь они струятся сквозь меня и в землю проникают густо».
А жаль, что к этому ты глух...
На пятом метре от комля жук короед от голода проснулся.
Он к ужину себя подарит дятлу. Тот в лет его услышит...
— Старик, все это может и не сказки, ты лучше укажи дорогу к людям.
— Куда заторопился, заночуй, рассвет тропу укажет...
Дед засвистал вдруг с переливом тонко.
Рукой как бы кого-то приглашая.
И глядь — над ним затренькала синица и плюх к нему —
 в корявую ладонь.
Головкой забавно повертела, чего-то клюнула,
чуть клювик поточила и нырь — в чашобу сосняка.
А через миг оттуда явилась со второю щебетухой.
И вот уж обе — что тебе не ветка! — запрыгали у деда на плече!
Он щелкнул языком, и тут же птицы ответили так дружелюбно!
Я тоже свистнул — не обернулись птички в сторону мою...
— Вот видишь, парень, синичка — тонкая душа.
Она заметит руку, которая беды не принесет...
За то, что люди несговорчивы с природой, они и терпят
 от нее подчас.
Простым словам мы учим птиц, не для общенья — для забавы,
боясь глупее оказаться подопечных.
Возможно, птицы знают о звездах истину поярче,
но кто их спрашивал об том?
— Все это, дед, не ново, хоть красиво.
И все же птица, как и зверь, не мыслит, а значит, не способна
 и болтать.
— У них нет времени на сплетни, вся жизнь в заботах и тревогах!
Вот, если лошадь слову научить, она бы обязательно сказала:
«Ты рабство уничтожил человек,— животный мир
покуда в рабстве пребывает».
Всю жизнь я тшил сам себя возвысить хотя бы...
 над невежеством своим
Да, мне хотелось разумом подняться повыше лошадиной головы.
Но не успел, все время! Время! Что мяло и людей и лошадей...
А в юности пытался я в загадках многих разобраться.
Добраться хоть до дна, но истину потрогать.
Послушай вот... От нашей деревеньки перейти низину.
Местечко звалось Бучалки, там мельница была, затоплена
 она теперь,
А раньше из воды торчали камни, как головы намокших истуканов.
Хлестала через камни те каскадом и падала ревущая вода,
Туда не то, чтобы ребят, — гусей хозяин не пускал
 — свирепый с виду мельник.
Мальчонкой лет восьми я тайно прибежал глазеть, как бесится
 водица,

Потом, дрожа, не знаю отчего, стремительно сдирал я одежку
 И прыгал в белопенное бучало...
 Как вьюн скользил, крутился меж камней и чуял, к середине тащит,
 Потянет за ноги, спешишь побольше воздуха набрать.
 И вот уж струи ледяные скользят ужами по спине.
 В мгновение тело коченеет, виски тискамы давит так,
 что рот раскроется вот-вот.
 Вода наполовину с пузырями, и жутко хочется дышать.
 Сознание дает приказ «Глоток — и нет тебя».
 Однажды промахнулся, хватанул. И в этой кутерьме, за несколько
 Секунд себя и всю родню со стороны увидел.
 Лицо отца — так близко и так ясно, лицо, которое забылось,
 и матушки печальные глаза, застывшие в испуге диком,
 она дрожащими, растущими руками меня пытается поймать,
 как бы в колодец, наклоняясь, кричит, а голоса не слышно...
 Потом мелькание знакомых, близких лиц...
 И тьма... но теплая, не давящая в уши...
 Спиной и пятками цепляю о твердую земли основу...
 И понесло!... Глаза открыты, где-то близко туманится водою свет,
 Уж тут руками успевай махать, как гусь, крылами — на подъеме...
 И вот желанный — бережок! Ухватишься за длинную траву,
 весь измочаленный висишь на ней, как окунь на лесине.
 Еще не веря сам себе, живой ли, наконец,
 Где силы находил, ползешь на суше по-пластунски,
 И вот домой бежишь, как снова народился, себя сам победив,
 И вроде б к тайне некой — причащенный...
 Какие ж мысли навещали, брат тебя, когда ты застревал в гнилом
 болотце?
 — Ну, если б я живал в твоих краях — какая разница, где киснуть?
 Царем ли оставаться у лягушек иль филином деревья по ночам
 считать?
 С привычками и то мы грустно расстаемся,
 как на перроне с близкими друзьями,
 А тут всего лишиться за ничто.
 Я повидал, старик: знал женщин, музыку, друзей, театры, книги...
 И отказаться от таких богатств?
 — Старался я подальше схоронить мыслишку ту, с которой ты себя
 хоронишь.
 Богатство?! Шутишь... отцветет и отпадет оно, мил человек.
 Лишь голова заменит цвет волос, а может, растеряет,
 Останется привычка уставать да вспоминать привычка об ушедшем.
 Придет и твой черед стать счетоводом собственных ошибок...
 Ах, молодость, — вздохнул старик, — какой же это праздник!
 Но вспомнишь ты о нем, когда за буднями пойдут сплошные будни.
 Успеешь столько глупостей наделать, покажется потом,
 что только ими занимался.
 Но не найдется простаков с тобою ношу разделить —
 у каждого того добра хватает.
 Но вот что любопытно: и почему любая глупость имеет
 странную привычку
 — выпячивать грудь там, где уж ее как раз-то и не ждали?!

Ты выхвалялся: женщин, дескать, знал, и понял я:
раз от разу все лучше — умней, красивей и добрей?!
Как говорят: по восходящей!
А может, просто так — для арифметики любви?
Не ерепенься, будь спокойней! Я в этом деле понимаю так:
Одна нам женщина подарит радость,
Сомненье — если две, а три — опустошенность,
Всем удовольствиям, поверь, цена пониже, чем мы платим:
Авансом — мелочи хватает, а позже крупных не собрать.
Вот, кстати, женщины: о них мы речь вели...
Они подолгу молодыми остаются... лишь на раскрашенной
картонке,
А в жизни все наоборот, в семь раз их увяданье дольше,
чем цветенье...
— Притормози-ка, старина, на этот счет свои познания!
Конечно, молодость — подаренный природой праздник,
но с червоточинкой
внутри: где за столом один сидит, другой за дверью ожидает.
А не подскажешь ли, мудрец, где та, что будет настоящей,
из сотни одинаковых по виду, где перенято, как по мерке,
от слов, заученных на память, до оперенья — их одежды.
А то все мы бьемся в сетях, что узаконила нелепость
инстинктов наших и пустых страстей.
И их любовью по ошибке называем.
Какая там любовь? Всего лишь одиночества изнанка.
Мы проповедь читать горазды, а к старости, желанье порастратив,
спешим занять удобное местечко, хотя бы стражем стать
у добродетельских ворот,
что удивляешься причине, как мало на Руси святых!
Ты опоздал о женщинах судачить!
Согласен лишь с тобой в одном, в любви они не терпят перерыва,
а если ты замешкался, они пробел быстрехонько восполнят.
Нет, я не за праздный принцип вековой:
«Красивые принадлежат не одному»...
А с остальными... может, где и забывался,
Счета пусть безотцовщина оплатит.
— В твоих словах, дружок, я слышу отзвуки досады.
Кто тысячи достоинств женщин упрямо превращает в недостатки,
того не назовешь мужчиной.
Мужчина — не влачитель, но властитель.
Его обязанность — нести чрез многие лета рассудка важный груз.
И не валятель он — ваятель.
Ведь все зависит от того, что можешь ты извлечь из человеческой
натуры,
чем станет ладный матерьял: подобием твоим, изяществом иль
глыбой,
в нем ты себя и утверждай, а чувственность пусть ждет в сторонке,
пока не станет восхищеньем.
От бестолковщины тебя заносит.
Природа не творила чуда — звуков до появления человека,
Нет ладней звука во вселенной, чем голос женщины любимой.

Ты музыку другую слушал. У всех живых существ она струится
из души,
когда душа чиста и коркой не покрыта.
Запомни, друг, нет музыки ни в низменных страстях,
ни в темных мыслях человека.
Не в музыке ты был, а возле, коль разницы не чувствуешь в том,
когда петух
в веселии поет или кукарекает призывно,
своей птичий прославляя род.
Какая ж музыка здесь в глухомани? Сезонная? Я представляю:
оркестр
лягушек, пташек, мошек, взамен ударных — хлопки
болотных пузырей.
Вся музыка, старик, прописана в столичных городах,
к тебе не долетал и брех собачий!
— А што у вас там, в городах, вдруг объявился сочинитель.
Цветенье сада он озвучит?
На ноты переложит грусть любимой?
Сыграет волшебство заката и восхода,
Он может убедить в господстве музыки над всеми,
когда она становится соперницей ума!
Раскрыл секрет, как в музыку вложить энергию тепла?
А может «сочинил» рецепт лечиться звуками и
забываться от беды холодными и долгими ночами?
Не ваш ли тот ловкач поэзию озвучил, растворил, теперь она
без слов понятней, ближе стала в различных залах государств?
Та музыка молчала до него, как колокол без языка металла?
К такой музыке нужен поводырь не полоскающий стоялый
воздух руками
старой прачки, а посиневший дирижер, осипший от команды «Пли».
Земная музыка, что снизошла до вас и та — язык немногих.
Из дюжины людей ее услышит половина,
а из шести — один поймет, другой соврет, что понял,
а третий поведет плечами: мол, уши выросли не там.
Спроси толпу про облако, плывущее по небу, кого оно напоминает?
Один увидит в нем лица знакомый профиль,
другой — заметит пьющего верблюда,
а третий — хлеба ситного ломоть.
Кто музыку творит? Обученный горами ветер?
Я знаю, музыка рождается от колебання звезд.
Вселенная нам дарит звуковое отраженье, оно парит,
как эхо в небесах, пока дождем не спустится на землю.
Его подхватят хитрецы, ушастые и жадные до звуков,
Удильщики, ловцы заоблачных шумов, крючками рыболовными улов
в тетрадки натаскают и звукотворчеством для важности
сей опус назовут.
Не звуки, отзвуки мы слышим, а если поточней сказать,
Те чудачки чужие примеряют украшенья, рисуют с отражения портрет,
увиденный в воде от ветра беспокойной...
Я был учителем, как раньше называли, самоучкой.
Дневные позабыв заботы, тетради, книги, ребятню,

в поселке за семь верст я предавался увлечению.
Играли танцы в три пластинки, а в выходной мурлыкал духовой.
Любил я обнимать валторну, она, пригревшись на груди,
одними легкими со мной дышала в такт парам, танцевавшим в круге.
Теперь в объятьях бесконечных тревожит музыка меня.
Я приобрел нелепый дар и слышу то, что кажется молчаньем.
Все то, что есть без музыки в округе
я видеть стал несовершенным, неуклюжим, лишним.
В глухую ночь в лесу, когда хоть глаз коли,
я музыкой могу ощупывать опасность темноты.
Теперь во мне звучат мелодии растущих трав, цветов и листьев говор.
Горит костер, и звуки ксилофона звенят в горящих головешках.
Плетет ли сеть заботливый паук — мне слышен трепет паутинок.
Летит ли птица в поднебесье — ее полет, звучит, как песня.
Телегами скрипят переселенцы — облака,
никак им места не найти для тюков с музыкой дождя.
Ты слышишь? Там пульсирует родник, стекающий
к застоному болотцу?
Своими берегами чмокает оно, как ветхая старушка,
чай пьющая увядшими губами.
На берегу осока старая пиликает, что десять тысяч скрипок.
Я малость подожду, пускай подсохнут стебли,
как инквизитор, эту музыку спалю...
Избавлюсь ли от звуков неумолчных? Во сне они преследуют меня!
Накроюсь с головой, сплошные слышу звуки, звуки,
То мелодичные — сама невинность, то — стук по наковальне,
до боли в голове.
Схожу с ума я от такой напасти.
И хочется бежать, живьем зарыться в землю.
А если на денек кошмары пропадут, я лезу в этот стог, как зверь
в берлогу.
Когда ж найдет меня звенящее ищадые,
сначала тонкой музыкой поманит,
минуту насладиться даст и тут же вытолкнет
в сплошной поток бурлящих звуков,
напоит допьяна, до одуренья... трясет безумный вокализ.
Чья эта музыка и почему мне одному досталась?
Похоже, она меня экзаменует и требует признанья новизны.
Я мог бы ею одарить оркестров гарнизоны,
а композиторов бесплодных в глубинных звуках утопить.
Неладной будь та музыка чумная,
ее лихая нечисть с сознанием породнилась.

VIII

Как только первый лист падет, тоска в избу крадется воров,
со всех углов глазееет отрешенно, минуты сна не даст,
поднимет на ноги с постели, в лес загонит
и из лесу прогнать обратно норовит.
Нескоро ей занятие наскучит, меня отпустит вся в изнеможеньи,
сиделкой сядет в изголовье, чего-то ждет, прислушиваясь к ветру.

Давно уж клинопись ученые прочли, но кто бы разгадал,
о чем так долго и печально шумит осенний лес.
Он, как больной, задышит, занеможет, то с облегчением вздохнет,
весь трепетом объят, и вновь заговорит, и залопочет, как малое дитя.
Лишь первый снег холодной простыней укроет землю
— в лесу проснутся звуковые блики.
Я слышу по ночам коней тревожных ржанье
и перекличку дальних голосов, под чавканье увязших в тине ног.
Спешу помочь, но звуки пропадают...
То там, то здесь гнездятся тени и голоса, живые голоса.
Кричу в ночи: «Я здесь, ребята, подождите!»
В ответ летит по лесу: «жди-те, жди-те»
да карканье ворон, разбуженных напрасно.
Утра дождавшись, на покой уходят голоса,
а я с усталости валюсь. В грязи по самую макушку,
плетусь, как пьяница, отвергнутый людьми,
не помню, как в сторожке окажусь.
А к ночи снова тянет в лес, туда,
где бродят голоса людей, взывающих из мрака.
Ослабну, оборвусь, хожу, как скрюченная тень от палки суковатой,
Пока мороз мозги не охладит...
По ржавому застывшему ручью чуть свет я к другу тороплюсь,
раз в год хожу, как на поверку.
Полдня пути до городка, что возле речки примостился.
Живет там шустрая братва в беретах женских и тельняшках,
Они, как угорелые, снуют по перекадинам и дыбам.
Захватит дух от высоты, а им хотя бы что,
Готовят их для цирка — куража, а может и повыше.
Пришили как-то к пиджаку погон,
у них за лесника и лешего я прохожу одновременно.
Всерьез приказывают мне: «Ты, дед, не спи!»
Пока им снятся сны, я должен небо караулить.
Который годя в части на довольствие поставлен.
Пшеница, сольцы, да спичек с одежкой из БЭУ мне выдаст
Тюменьков,
мой старый друг — их главный старшина.
Нам есть о чем поговорить, а затемно с обновой возвращаюсь.

IX

— Ты, может, здесь в глуши туман наводишь, дед,
людей разжалобить к себе, заранее готовишь нам вопросы
и зубы музыкой полощешь? Любовь высокую придумал.
Я в городе не раз на рынке замечал таких убогих побирушек,
что страшно посмотреть.
Случалось, и они властям вдруг заявляли о пропаже.
Какой же капитал припрятал ты?
Дед пристально, с усмешкой поглядел:
— Весь капитал на мне, могу с тобою поделиться.
А ту любовь, что я придумал — не забыл.
Тебе она, возможно, и не снилась...

По молодости лет мне нравилась смазливая особа.
На май, когда черемуха растреплет кудели белые свои,
В деревне нашей оживал языческий обычай — он, может,
в силе и теперь,
черемухой в домах святили по углам в горшках и склянках,
дня три спустя в кострах сжигали красоту, чтоб лен прохладней
уродился.

Ходили парни в лес гурьбой, а для проверки крепости поджилок,
те, кто постарше, заранее в кустах страшилку сотворяли.
Не все с цветами возвращались.
Потом уж на вечерке был хохот до утра,
над тем смеялась толчея, кто больше испугался.
Уговорила и меня зазноба черемух попушистей наломать.
Отправился с приятелем на пару через овраг, где заросли сплошные,
там соловьи, страдая до утра, плетут из трелей кружева
и с веток падают, натужась.

Светилось ночью от цветенья. Природа — удивительный театр:
В одном лице ты зритель и артист, валяй хоть дурака
без подготовки.

Но роль мы в чаще исполняем чаще топором, когда и дров не надо.
И надо же так глупо пошутить — я не откликнулся на голос друга,
сама же шутка противницей моею обернулась.
Я пробовал пересвистеть всех соловьев в округе,
но друг как сгинул в темноте.

В ночи метался я с охапкою черемух,
из одного оврага лез в другой, а нужный мне не находил.
Набрел на вырубку, решил дождаться утра.
Зажег костер, береста свежая корежилась, чадила,
с досады я черемухи охапку в костер пылающий подбросил.
Вмиг взвился и застыл янтарный столб огня.
И чудо! Нет, не может быть — отлитое из пламени живое существо:
в одежде, сотканной из майского тумана, босая девушка
на тлеющих поленьях стояла и смотрела на меня.
Лицо премилое, каких не видел сроду, такое,
что лишь сон сумеет породить.

В глазах, что пламя отражали, росой застыли слезки золотые,
льняные волосы с отливом лунным вдоль тела распушились
и доставали головешек жарких.
Огонь покинув, руки протянула — согреться, как бы приглашает,
и снова пятится к огню.

«Ты кто?» — я девушку спросил пугливо.
В ответ мне голос отозвался, как журавлихи клокотанье:
«Твое желание, — ответила с улыбкой, — не бойся, ближе подойди,
ты первый, кто меня увидел, с тобой я разделю все радости —
печали.

Я подарю тебе бессмертье, парень».

«Ты призрак, — возразил я, — в таких нельзя поверить.
Живешь в ладах с огнем, не так, как существа живые.
Ты думаешь, огонь костра спалит во мне дарованное чувство,
что постоянством у людей зовется?
Тебе ли я берег его?» — и, повернувшись, в лес пошел.

Не сделал и пяти шагов — деревья на пути мне встали.
 Я лез сквозь частоколы сосен, а ветви жесткие лицо стегали.
 Уж стал жалеть, что девки испугался, как услышал знакомый голос:
 «Иди сюда» — и струнное «да-да-да» мне эхо трижды повторило.
 Деревья мигом расступились, в тоннеле сосен ее вижу.
 Она заламывала руки, тянулась и звала,
 звала к себе, как бы на танец приглашая.
 Я видел через тонкую одежду, как волновалась грудь ее.
 Взгляд девушки был полон откровенья,
 но не податливость в лице сквозила,
 скорей, решительная смелость.
 «Ты в мое сердце первым постучался, а та, которую так любишь,
 не станет долго горевать.
 Лишь три луны сойдет на нет, она с другим утешит душу...
 Те чувства светлые, что к ней хранил, они от возраста подарок
 и с возрастом остынут, пропадут, как остывает осенью земля,
 нагретая теплом за лето.
 Меня не станет на заре, и в тот же вечер в вышине,
 где неба темного участок,
 к Медведице я стану в изголовье, чтоб вновь светить зеленою
 звездой.

Когда ж тоска тебя найдет, и холод жизненный наступит, ты в небо
 пристальной взглядишь, там взор заметишь мой,
 расскажешь молча о печали, а поутру в серебряной траве
 увидишь россыпь бриллиантов — застывших слез моих.
 Пригоршню блесков набери и влагой росною умойся,
 — навек бессмертье обретишь...
 Внезапно сосны заиграли органной музыкой протяжной,
 А травы флейтой вторили в ответ.
 Созвучье флейты и органа заполнили всю округу.
 Дуэт, которому нет равных, взлетал и падал, призывая...
 «А как зовут тебя, созданье?» — спросил я девушку,
 весь трепетом объят

(уже тянула к ней неведомая сила).
 «Я дочь Зари и урагана, Зарингой величать меня».
 «Заринга? Имя-то какое! Такого не слышал я, отродясь».
 «Вы матушку встречаете с поклоном при встрече дня и на исходе,
 а батюшка, разгульный, невеселый, суровый от Природы у меня.
 Он на земле сметает все живое, на сушу изгоняет корабли,
 не терпит он застойного покоя, рвет тучи на мельчайшие клочки,
 и громы, лбами сотрясая, стремится расколоть хрустальный небосвод,
 Виной тому сестричек любопытство.
 Наш майский звездопад походит на ваш осенний Юрьев день,
 когда дозволено нам, звездам молодым, приблизиться к Земле,
 она нас манит постоянно. Кто долетит сюда, девицей станет.
 Но сколько тысяч, не дождавшись позывных с Земли,
 в молчании горят, холодным блеском дали озаряя!
 Мне счастье выпало — я встретила тебя.
 Огонь костра ничто в сравнении с огнем,
 который ты зажег от сердца своего,
 он на земле и в небесах повсюду одинаков —
 любовью пламенной зовется».

В глазах ее то радость, то печаль сменялись поминутно,
она взволнованно
согласия искала, но страсть во мне не превышала страха.
Вдруг ледяную дрожь почувствовал я в теле,
и боль сладчайшая прошла грудь.
Я крикнул что есть сил: «Иду!» и испугался голоса чужого.
Как будто кто-то за меня исторгнул дикий крик.
Три раза эхо протрубило, как клятву верности взаимной.
Она мне низко поклонилась.
Поплыли звуки пламенного вальса, мы закружились в вихре огневом.
Не сон ли? — думал я. Ступни угля обжигали,
распущенных волос густая пелена от пламени меня спасала.
В горячих пальцах ощутил я дрожь, в движеньях девушки
жила восторженная страсть воздушной балерины.
В головокружительном вращенье лес ожил
и шумел верхушками деревьев.
Мы стали в те мгновенья невесома.
Накренилась земля и стала как бы перевернутой площадкой.
Поток стремительного ветра нас подхватил, как облачко белесого тумана,
что стелется над лесом по утрам,
Мы понеслись в ночную пустоту, сплетались руки наши,
Не мог я от волненья говорить, но взгляд зеленых глаз
уверенность вселял,
и что-то нежное шептали губы, но слов не разобрать.
Там на земле всю колокола гудели — бедастряслась, похоже.
Летели мы к созвездию Стрельца, — вон, к звездам тем,
что в южном полукруге, — старик куда-то в небо указал
корявым пальцем, —
есть там зеленый островок, с земли он точкой кажется на небе.
Среди скопления туманов всех звезд отсюда не видать,
они по яркости пяти размеров.
Зимой в созвездие заходит солнце немного осмотреться,
Взглянуть на разные миры, они рассыпаны в узорчатом порядке.
Земля находится в седьмом ряду, в полете я ее приметил,
два раза темнота сменялась светом.
Полоски рек вытягивались в нитку, все уже сверху становились.
Не более десятка их, бегут от белых льдов до желтого песка
пустынь.
Мы сели на одну из радуг — их много там, окрашенных зарею,
черед свой ждут украсить землю.
Ты знаешь, ведь пока окраска с радуг не сойдет,
цветы в лугах не зацветают.
По радугам сошли к небесному ковшу,
воды пригоршню зачерпнули, она прибавила нам сил,
А музыка! Такое торжество звучало!
Все то, что раньше приходилось слышать, там на верху
нелепостью казалось,
пред ней земное та-ра-рам должно навеки устыдиться.
Та музыка была близка по духу мне, ее я ждал — она являлась.

И, взявшись за руки с Зарингой, дошли до Млечного пути —
он протянулся долгим лугом.
Такие заросли больших ромашек нигде я раньше не встречал.
Мы прятались среди них, друг друга находили,
смеялись беззаботно и целовались, целовались...
Заря будила по утрам багряно-нежным светом.
И как-то ночью, глядя на хрустальные миры,
мне девушка открыла тайну звезд расположенья:
к ним надо только приглядеться...
Как в грамоте незрячих, по точкам — бугоркам
прочтешь значение любви для человека.
Откуда он произошел и почему забыл свое предназначенье
стать птицей, рыбой плыть, быть самым быстрым зверем.
Ведь неспроста во сне летаем.
А наяву, кому не приходила мысль слететь с горы,
парить, как птица, в голубом пространстве.
Каких-то тридцать тысяч лет назад
еще летали наши предки в прохладной вышине.
Могли же мышцы рук поднять в пять раз побольше
веса собственного тела!
Любовь тогда возвышенной была, влюбленные встречались
в облаках,
и гордые орлы им пищу приносили.
Теперь народ отяжелел, живет на положении пингинов,
забывших свой полет, руками машем, а взлететь не можем!
Пропало ощущение полета, а без нужды летать
— переродился человек,
взамен полетных свойств, неистребимое желание жевать он получил.
Да, с ней мы уносились высоко!
Предчувствие беды преследовало тенью,
и я спросил с тревогой затаенной:
«Заринга, девочка, тростинка, что станется с любовью светлой,
когда придет безрадостное время расстаться нам надолго?
А если свидеться придется на белом, синем или черном свете,
как опознаешь ты меня,
когда морщинами лицо, как неводом рыбацким, перетянет,
а волосы колосьев спелых цвета окажутся травой заиндевелой?
Узнаешь в голосе дрожащем свободный голос мой?»
Я увидел лицо ребенка. Она в ответ затрепетала:
«Взамен потерянных годов, прожитых не напрасно, к тебе вернется
молодость отцов, не ставших в жизни пожилыми.
Ты только жди до слабости, до трудного дыханья.
К тебе я прилечу, лишь народятся на земле два новых поколенья...
Когда проснувшийся в ночи огромный небосвод
твою притянет беспокойную планету, меж нами
сократится расстояние до полуночного полета.
Когда черемуховый цвет засветит вешние поляны
и хлынет ливнем звездопад, как в первый раз, костер поярче разведи,
чтоб искры, в небо подымаясь, к тебе указывали м-о-й путь...»
Настал тревоги час. Над нами тучи надвигались,

укутав горизонт в зловещий сизый мрак.
 Мы обнялись, единством став перед бедою...
 Тепло сменилось ветром леденящим,
 Гроза, готовясь разразиться, пугала жалами слепящих вспышек,
 катило громыхание на нас.
 Густая темнота настолько плотной стала,
 ее мы трогали дрожащими руками.
 И хлынуло, как будто чашу океана над нами кто-то опрокинул,
 и водопад дыханье прерывал.
 Зеркальный блеск спующих молний кромсал и резал темноту,
 и поминутно ослепляя, пред нами появлялось
 молниеносное словцо «Ис-чез-ни».
 Громов неисчислимы раскаты глушили наши голоса,
 и ураган трубил: «Рас-стань-тесь!»
 ... Потом такая началась пальба — в нас били сверху с самолета...
 — Послушай, дед, какие самолеты?
 Другую оперу ты начал, наверно, перегрелся у костра?
 — Я помню эти погребальные кресты на крыльях и хвосте —
 садил из трех стволов двухфузеляжный Фокке-Вульф 412,
 его мы рамой называли.
 В тот день, 2 ноября, я собственной рукой успел заполнить
 похоронку,
 с солдатами отправил на деревню треугольник,
 мол, так и так, не ждите, не печальтесь, я не один здесь...
 А жить пришлось еще три дня. В ночь первую мы встали на Косе.
 Из темноты шли мимо устало поредевшие полки.
 Никто, никто из тех солдат не проронил ни слова!
 И жуть брала, вдали горел громада — город,
 он спины наши жег, а души — леденил.
 И в пекло то входили отступавшие солдаты...
 Весь день нас дождик поливал — последний, знать,
 воды и так хватало, внизу — болотная, гнилая,
 а сверху — божий дар, нередкий гость тех мест.
 Сенявиным то место называлось... Пооткрывали все, знать, бедному,
 Досталось болотце открывать, хоть имечко на сырости оставить.
 Все ж дождь устал, а к ночи просветлело и потянуло на мороз.
 И выпал первый снег и полетел...
 Как будто бабки сговорились трясти перины разом все.
 Заравнивал он кочки и канавы, лениво закрывал и наш расчет.
 Четырнадцать нас было, к тому ж, шесть красных лошадей —
 тяжеловозов,
 с небесных колесниц, да пять мешков овса, да пушка-гаубица.
 Одна, но всех тянула под бугор.
 Капризная пушчонка «Габа» — сплошная аккуратность,
 Была сиделкою у форта, ее нам дали напрокат.
 Друг друга поименно знали, и каждый знал, на что годится.
 Теперь их имена выветриваться стали. Иванов три, не то четыре было,
 Два Виктора, Петруха, Алексей, Никола — наводчик из Коломны,
 коломенской верстой прозвали за высокий рост.
 Василий — тоже под два метра, да Петька Кузовлев под статью.
 Комсорг — Абулов, тоже Коля, тот невысок, но скор, упрямы.

Орлов из-под Калинина — худющий лейтенант,
Сержант Подольский — парень свой, рубаха.
Его убило наповал осколком в грудь, как только
мы схлестнулись на рассвете...
Гуськом поперли немцы в трех верстах, рыча и воздух сотрясая.
Угарный ветер, словно псиной, валил на наш расчет, опережая танки.
Но мы о страхе позабыли, с насиженных, пригретых кочек
вставалось с трудом — одеревенели вроде.
Сержант словцом непресным разбудил
и в чувство нужное привел нас быстро.
На полусогнутых, толкаясь на ходу,
припоминая чью-то маму, мы к пушке подались,
шинельки наши задубели, согнулись спины коромыслом.
И надо ж, кто-то в стороне из автомата
на ветер очередь пустил, возможно, нас приободрить.
Поодаль на бугре, посуше где, взводок прикрытия залег,
верней, что оставалось от взвода, бойцов десятка полтора.
Был с ними Васька Чернышев, бедовый, смуглый пулеметчик,
с лицом монгольского покроя и косолап.
Запомнился мне смех раскатистый и сильный, баском пересыпал.
В нем столько молодости было, на холоде потел,
и мокрый чуб ко лбу скобою прилипал.
Фамилию запомнил, по перводню из нашего знакомства,
а на второй его с пробитыми ногами к нам притащил боец...
Спросил лошадку у комбата.
Эх, малый был, как ртуть, весь так и двигался — вертелся,
кого за плечи потрясет, кого толкнет — приободрить,
и на тебе — обвис, как полотенце через руку.
Мы все боялись за Орлова, боялись и напрасно...
Нам было по семнадцать, восемнадцать, девятнадцать,
и разница в годах, как звуки в инструменте,
где струны тенькают от ноты низкой до ноты чуть повыше.
Орлов постарше был на целый год, но твердость в нем —
неизмерима.
В ту ночь он посчитал, что лишний затесался среди нас.
Наш ездовой затеял втихомолку пробу фуража,
сробела молодость — и в этом вся причина
— Пристрелен был наш Сенька за бугром.
Суровым оказался лейтенант, но судей для Орлова не сыскалось...
Так нужно было. Приказ не думать о еде нарушил ездовой...
В болоте немец нас не ждал. Лишь злобное урчанье затихало
и наступала передышка, позицию менять нам приходилось
Ты видел молодость в упряжке, когда по пояс в ржавой мешанине
на помощь очумелым лошадям,
веревками, ремнями опоясав, впрягалась изнуренная ватага?
Мы упирались в небо и болото, молясь одновременно всем богам.
А мысль, как пойманная птичка, упрямо билась в черепушке:
«Ну, милая, поддайся, подвинься хоть на метрик!»
В глазах то желтые, то черные круги,
И юные тела тряслись, как в знойной лихорадке.
Под пушкой два бревна и спереди их два, по ним всего

на полверсты до следующей пальбы свернуть мы успевали.
Лишь к вечеру на третий день к нам фрицы пристрелялись,
сил не было уже, и лошади не шли.
Снаряд не каждый рвался, а многие тонули в жиже —
Сбивала с толку их другая пушка.
Поодаль за версту, налево от Косы, подружка ухала,
перекликаясь с нашей.
Фриц разгадал, осколочно-фугасным угостил.
В тот день не стало четверых: подался к праотцам Иван из Тулы.
он хватанул осколок сердцем и угасал минуты три,
потом спокойно лег, ладонь под щеку подложив,
мол, я устал, немного отдохну, ребята.
За ним Петруха Мулерман — наш заряжающий —
из Подмосковья — рыжеватый парень.
Вот кто уж анекдотов уйму знал...
Снарядом забавлялся, как игрушкой, крестился им,
 взяв чушку за головку.
Ему оторвало по самые колени ноги... Такой короткий стал...
В горячке он привскакивал на культю, в бреду истошном маму звал...
Но долготы не шла...
Последним помню лейтенанта, его прошило со спины навyleт.
Он кровью в сторону плевал... стеснялся...
Обняв лафет обеими руками, все тужился,
как будто приподнять хотел трехтонную махину,
и навзнич рухнул в колею, раскинув руки,
белки отболи закатил на небо.

Х

К нам на вторую ночь явился ангел в белом, с автоматом —
широкоплечий, ладный старшина. И лихо доложил:
 «Сидоров — разведчик».
И, видно по всему, он разбирался в тонкостях разведки.
Алеша руки нам пожал, со вздохом предложив:
— Ну, «пушкари», желающие есть проветриться до фрицев,
 прикинуть в адрес наш подарки?
Я напросился, мы молча шли, и, как на грех — луна, огромная
желтющая луна, как печению больная,
приподнялась над ширмой облаков.
Мир разделился пополам, стал черно-белым.
Я, как ворона на снегу, по цвету выделялся.
Алешка напрямик подался, а я вприпрыжку где темней,
меж кочек битых два часа к соседям пробирался.
Нас на пути остановил пейзаж — как нарисованный,
 почти что лунный,
земли застывшее уродство с блестящей коркой льда —
«семейство кратеров» от наших снарядов.
А возле них с белесыми крестами танки с разодранной броней,
без гусениц, и башни набекрень.
Да, мы накрошили крепко вражьего металла!
Стояли танки, будто в западне, как скопище слонов,

страдающих от жажды.
 Стволы их хоботами вмерзли в лед.
 Наверно, «археологам» грядущим прибавится работы.
 Мы знали, возле техники исправной нас ожидает пост.
 И вот он показался: Фриц пастухом маячил на пригорке,
 как будто возле отдыхающего стада.
 Я услышал, как цокал Алексей зубами, шепнул:
 «Ну, что, Алеха, дрейфишь?»
 «Боюсь,— ответил он — в лопатку угодить. Подымет шум...»
 Он протянул свой автомат: Мол, подстрахуй,
 попридержи на мушке.
 Зубами ухватил клинок, пополз неслышно...
 Алешка должен угадать: когда фриц отвернется,
 тогда уж торопись — ты пан или пропал.
 Видать Алеха в арифметике отстал — в расчетах промахнулся.
 В лицо врага он встретил,
 Возможно, хрустнул снег, а может, часовой беду почувал —
 Фриц повернулся и застыл, и замычал от страха,
 Алешка в два прыжка достал его, фриц крикнул и присел,
 Алешку притянув к себе. Верзила был пудов на восемь.
 Уж я насилу вытащил Алеху, ну а клинок оставили на память:
 ослабли здорово и не могли мы вырвать.
 Застрял он крепко в грудной клетке.
 Дошли до блиндажа и не рискнули дальше.
 Машин десятка три застыли назавтра солдатню подкинуть.

 (Они в окопах наших ночевали) и танки,
 пушки в накидках и чехлах.
 Мы поняли, что завтра жарко будет.

XI

Рассвет от взрыва встрепенулся, фонтаном грязи салютуя,—
 Вражье пошло на опережение дальнебомом.
 Вслед за прицелочным рвануло рядом и понесло
 обкладывать осколками и тиной, болотина ходила ходуном.
 Мы с дюжину снарядов подпустили фрицам, а остальные берегли.



За артобстрелом наступленья ждали, и битых два часа
 такая тишина и ни гу-гу, что я, оглохший от стрельбы,
 услышал застекление воронок коричневым ледком.
 Вдруг облака зашевелились, с надрывом странный звук,
 напоминающий шмелиный. Он нарастал и двигался на нас.
 Понятно стало... И так просто увидели последний час,
 успели лишь переглянуться.
 Когда нас тень его накрыла — бойцы под пушку головой,
 как выводок цыплят под квочку, от ястребиного налета.
 Мне в бок ударило, но боли не почувял, лишь обожгло.
 Не думал я, что кровь так горяча в застывшем теле.
 А из ребят лишь пятеро поднялись.
 Еще заход, и тьма в глазах, лечу куда-то в преисподнюю,
 И где-то в светлом далеке играет музыка, манящий предков зов.
 Очнулся от ритмичных перестуков. Где я и что со мной стряслось?
 В покаях движущегося склепа, на нарах в несколько рядов
 мужское население разглядел. Позвал своих — молчание в ответ.
 В боку болит, в башке звон несурзанный, всякий.
 На шее тряпка — рукав от гимнастерки, засохший как брезент.
 В плену? — Мысль ядовитая сознание захлестнула.
 Ну, думаю, не жить. Свидетелем я должен стать паденья —
 угасанья.
 Припомнил провода в деревне. На всю околицу возня
 и оглашенный крик.
 Отец дружка, седой и хилый Комов,
 дрожащим голоском напутствовал сынка:
 «Что хочешь, Федь, хоть пулю в лоб, но только бойся плена».
 Старик в Германскую, в четырнадцатом году,
 был раненым пленен, узнал все «прелести» чужбины.
 В вагоне мысль всерьез о клетке завопила, как никогда
 так захотелось жить!
 Другое вспомнилось, как в первый раз попали в перепалку,
 у озера, с названием Иван...
 Нас минометным долбануло так, что в географии тех мест
 от снега не осталось белых пятен.
 тогда меня осколок в ложечку достал, другой — плечо поранил.
 И на беду я был бы похоронен, да немец спас...
 Чужую речь услышал, как в угаре. Ну, думаю, в плену.
 глаза открыть мне все же сил хватило.
 Со мной в воронке неглубокой, такая же недвижимая братва.
 Кто нас собрал и для чего? Напротив фриц залопотал,
 а в метрах трех
 обугленный танкист, он по боку у офицера шарил.
 Наш лейтенант уткнулся в снег, как будто от великого смущенья.
 Но все ж осилил кобуру танкист, и приподнял он пистолет
 на фрица.
 Я помню как сейчас танкиста руки:
 фаланги черных пальцев почти что оголились до костяшек.
 Ух и визжал пораненный фашист, молить стал о пощаде,
 я подполз и выбил пистолет. Застонал танкист с обиды —
 стал оскорблять.

Но почему-то санитары первым на носилки положили фрица,
Кому-то он нужнее был...
Нет, я не ждал за немца всевышнее спасибо, я их убивал в бою
Вагонные колеса монотонно долбили мысли о побеге.
Стал пружкой ковырять, где бледный лучик пробивался,
на помощь парни подползли, по щепке доску одолели,
Ломались ногти — в ход пустили зубы...
Ворвался свет в вагон, взвопила пленная команда,
отталкивать друг друга стали, на волю поглазеть.
Чуть начало темнеть, кто двигаться умел, задумали бежать,
Тут поезд сбавил ход, я первым прыгнул на подъеме,
о что-то твердое ударился коленом, ползком по насыпи,
по снегу, вниз, в кусты.
Всю ночь, о палку опираясь, я шел и полз неведомо куда.
Сознание мутилось поминутно. К утру меня окликнул кто-то.
Чужая женщина моих годов пыталась объяснить,
но речь ее была мне непонятной.
Она ушла и вновь вернулась с хлебом, перевязала марлей раны.
В сарае густо пахло сеном. Я понял: жизнь не кончилась моя.
Не помню, сколько дней ухаживала пани,
а поутру однажды принесла пирог.
Сказала тихо: «Езус Христос» — и по-домашнему взглянула,
(знать, Новый год был где-то рядом).
Я набирался сил, надумал уходить, ночами совершая
долгие прогулки.
Уж все готово было, нашелся проводник. И надо же беде случиться.
С высот тоски я в бездну пал глубокого позора —
Я благодарность в ласку превратил
и получил приснившийся подарок.
Нет, не меня, она во мне другого обнимала,
в беспамятстве шептала Юзеф, Юзеф.
Но Юзеф в переводе никак уж не походит на Ивана.
Она звала того, кто год назад стал пеплом в облаках.
В ту ночь сгорело все, сгорел мой дом, семья, душа истлела
и сам я стал огнепоклонником лесным, но это уж потом.
Наутро вдруг подъехала машина,
трех офицеров в щель увидел — спешили к чердаку.
Пошарили, ни с чем вернулись, потом — в сарай.
Зарылся в сено я поглубже. Нашли по стуку сердца, видно...
На божий свет за ноги потянули и начали плясать...
Смеялись гады от удачи, все лопотали, называли фишем,
что значит — рыба по-немецки.
В барак загнали. «Бежать, бежать, бежать!» —
И днем и ночью гложет!
Куда бежать? Кругом чужие голоса.
Какой-то польский город Рослов, почти как Ярославль.
Но, к счастью, налетели самолеты, — наши!!! Фашисты — кто куда!
И мы, конечно, тоже врассыпную, ушли, кто смог...
Втроем мы забежали в дом старинный, спросили одежонку, —
ведь все мы в полосатых куртках — живой шлагбаум.

В заброшенном подвале кантовались сутки,
наутро снова «Хенде хох!»
Нас, беглецов, затиснули в машины, и вновь на запад, в лагерь.
Там на воротах клетчатых отлито, три слова в чугуне тяжелом,
три ржавых слова в переводе: «Свободу дарит труд».
Из лагеря два выхода имелось: один — в зловещей туче
пеплом раствориться,
другой — зарыться глубже в землю.
Я сделался кротом Европы подземелий, тянитолкателем
железных вагонеток, рыл землю под землей и на земле.
В подземном царстве за два года до дыр истерлась
не одна лопата.
Теперь же руки — грабли,— посмотри!
Подошва у верблюда мягче, похоже,
на четырех ходил-передвигался.
Старик с досады перебил ребром ладони толстое полено.
Вот где был мор!... Я выжил только потому,
что мертвый помогал мне выжить.
Когда сосед по нарам умирал, мы сообщать не торопились.
Нас утром пайкой обносили, покойнику с живыми наравне
давали хлеб в протянутую руку.
В кормильцах перебоя не бывало,
им смена ежедневно подходила...

А ты о книгах говоришь!
Приврал, знать, Данте ваш об ужасах глубокой преисподни.
Тот ад был наяву — страшной фантазий. Не видел Данте ада,
его он сочинил, кошмарами страдая от бессониц.
Закрылся старый ад, наверно, на ремонт.
Европа новый «сотворила» себе и нас не обошла.
Я и теперь их вижу по ночам,— иссохших, взмыленных Харонов,
толкающих натужно вагонетки, не с душами усопших,
а с телами жертв, проживших жизни треть.
Я выжил — толку что? Теперь смысл жизни равнозначен смерти.
А научиться честно умирать — нехитрая и скучная наука...
Кто правит мною, кто?
Поймать бы те невидимые вожжи и оборвать!
Тогда еще заметил чудо, рожденное от слабости, наверно:
поверил в исключительность свою,
она надежду подарила выжить...

Я слышал по ночам: вдали от лагеря, в костеле,
играл орган за упокой сгоревших душ, а может,
просто так от скуки, наяривал бедняга ксендз.
Прелюдию играл он монотонно, долго, но вдруг очнувшись,
поднимет оглашенье труб «Иерихона»
до небывалых басов глубины,
что кровь внезапно застывала, не удержать непрошенной слезы.
И до рассвета теснились вожделения органа,
свободно проникая через рамы
сквози кропленные кровью Христа витражи.
А в дюнах в унисон на оголенных струнах — корневищах,
семейство сосен тоской угрюмой подвывало.

Шутили надо мной друзья, прозвали музыкантом...
 Два раза каждый год с больной надеждой встречал
 и провожал я перелетных птиц.
 Но прилетели в марте в сорок пятом другие птицы.
 На бреющем полете били по колючке англичане.
 — Так, ты герой, старик!
 — Я стою лишь себя, герои стоят многих, беречь свой дом,
 да не сберечь — какое ж тут геройство!
 Пройдет не так уж много лет, нас станут вспоминать не чаще,
 чем героев Шипки...

Меня никто не смеет упрекнуть:
 Я отдал все, не прятал сил. Теперь их не хватает даже умереть.
 Чего-то жду, как ворон на заборе.
 — Ну, ладно, старина, война, история и музыкальные кошмары —
 перевернули мне душу наизнанку,
 Ты лучше доскажи о девушке той звездной, и о любви на небесах,
 нам на земле такого не видалось!
 — В твоих понятиях, браток, чем выше, тем искусней.
 Ан нет! Любовь от места не зависит...
 она на стоге сена возвышенной бывает у глупцов.
 И воробью на куче конского навоза покажется,
 что он владелец крупного богатства...
 Да, я любил и не делил любовь по главам,
 теперь, наверно, позабыли так любить.
 — Немало весен пролетело: надежды, муки и костры,
 немало звезд упало с неба — моя недвижима осталась.
 Уж много лет как я на землю возвратился,
 а помню, помню возвращенье...

Как лист осенний, одинокий, кружил я в серых облаках и падал,
 падал медленно на Землю, на лес, уснувший подо мной...
 Очнулся я от голоса кукушки, что мне сулила долгие лета.
 Деревья корнями наружу валялись в страшном беспорядке.
 В руках держу холодный пепел костра, потухшего давно...
 А чуть поодаль — этот посох, забытый кем-то.
 Пошел я к роднику напиться и вижу старца отраженьем,
 глядящего с испугом на меня.
 Седые волосы, лицо в звериной шерсти...
 Как маску старости презренной со зла мне кто-то спящему напялил.
 Куда идти? Кому я нужен?
 Пошел на солнце, напрямик и вышел в старую деревню,
 где избы так близки, знакомы, а люди незнакомые совсем.
 на месте дома, где я вырос, крапива поросла глухая
 вокруг краснеющих развалин.
 А где крыльцо когда-то было, черемуховый появился куст,
 стоит и с грустью поджидает. Над ним шумит громада-тополь,
 глаза прохожих пухом застилая.
 На память прихватил с развалин камень
 и вслед за птицами подался.
 Они летели на свои гнездовья, а я — подальше от гнезда...
 Старик умолк и отвернулся, уставился он пристально на небо.
 То тускло вдалеке, то ярко-ярко, прям над нами,

царапая ночную темноту, немые звезды сыпались обильно.
Старик вскочил вдруг, затряс руками, лицо переконилось,
он страшно заорал, раскрыв беззубый рот:
— Она! Летит! Исчезни! Сгинь, щенок! Моя! Мо-я-а-а!
Издав звериный хрип, весь содрогнувшись,
 грузно шлепнулся на землю,
пополз к костру на четвереньках.
Трещала подгоревшая щетина, я от огня его с трудом
 за ноги оттащил.
Он издавал протяжно звуки — не то мычал, не то стонал,
И судоржно виски сжимал, как бы избавиться хотел от го-ло-вы,
потом затих надолго. В комок свернулся.
В страданиях его тревожилось лицо...
Очнувшись, виновато посмотрел потухшими глазами,
гримасой выдавил улыбку.
Светало. Розовели облака. Летели птицы.
Много птиц летело с юга.
— Твоя дорога попрямей!.. Иди навстречу птицам,—
Дед согнутой ладонью мне направление показал,—
как до деревни доберешься, поклон крестьянам передай,
развалинам, будь ласков, поклонись.
Сорви лист тополя с прожилками по кругу,
 как у пластинки патефонной.
Поставь на диск покрепче лист. И, коль не глух, ты многое узнаешь:
услышишь чей-то шепот, пенье птиц, дождинок мерный ропот
и вздохи, слышишь, вздохи, похожие на дальний крик...
Теперь уж я взревел: — Пстой, старик! Зачем зло шутишь?
Там дом стоял родителей моих...

ХII

Свиданьем тем, признаться, я был ошеломлен до дрожи.
Но все ж родство никак не прирасталось при виде
 неземного существа,
и, вероятно, я ему не очень приглянулся.
Хотелось справки поточнее навести у деревенских
и поскорей развеять чудеса.
Внезапно всплыли давние обиды и тот период ледниковый,
когда из каждой пасти подворотни за малую оплошность
летело вслед такое едкое словцо борзое «безотцовщина».
Все это и другое, и всякий бред один вслед за другим,
вертелось в голове, как в калейдоскопе.
На выручку приплыли издали слова старинной книги
«О мертвом воинстве», где говорилось:
«Ввысь устремите вашу мысль, и убиенный окажется рядом».
Давно та мысль ракушками покрылась, но в майский красный день
она влетала с улиц шумным сквозняком и к ночи
с хлопучками салюта затухала.
Да и не он, а я к нему явился с обидой на всех,
 с неверьем ни во что.
А на заре, расставшись со взъерошенным Иваном, отправился туда,

где тополь сухопутным маяком показывал крушение надежд.
На все мои допросы деревенских я получал один ответ:
«Да мало ли в войну и после здесь хаживало бездомных стариков
с протянутой рукой, у каждого тогда забот хватало. Кого спросить?
Сам видишь, от деревни, разлетевшей кто куда от ветра,
остался кукиш с половиной...

Пообещав через годок по новой навестить родных,
собрался через два.

Известно, что годок намного дольше года.
Моим стремленьям на пути вставала суета, и каждый раз до цели
спадали складками без ветра паруса...
Я вновь в дороге, в той же душной качке, все тот же пыльный путь,
и с думою одной, как поскорей добраться до лесной избушки,
увидеться воочью со ставшим близким стариком Иваном.
Нырнув в прохладную пещеру леса, трусцою,

торопясь бежал без усталы,
стараясь засветло прибыть на место.
Вот уж родник, тропа, и вскоре, открылась серая поляна,
совсем другая, где пятаками плешь былых кострищ
мне показалась закопченным циферблатом для Циклопа.
А в центре, на подпаленной высохшей березе, там сучья стрелками,
направленными вверх, показывали вовсе не земное время.
Травой заросший огород навеял смутную тревогу: «Хозяин болен».
Поодаль тихий теремок, где дверь, вихляя на ветру,
меня в дом опустевший приглашала.

Зеленая солдатская кровать, да стопка серых одеял,
да стол дощатый
шаткий, казались дорогим приобретеньем к приходу дорогих гостей.
В сырой избе, где холодней, чем на поляне,
никак мне оставаться не хотелось.

Я вышел за порог, чтоб заглянуть в горбатый погреб, что вырыт был
под елкой в щелке с красной глиной, где светлые ростки
на выжатой картошке змеились к свету, не найдя его.

И, побродив в лесу до первых звезд, я судорожно понял,
что совершил по времени страшную ошибку.

Присев на пень, я будто к дыбе пригвоздился,
не встал до утренней зари,

тихонько от досады подвывая...
Казалось, что я окреп, перегоняя скисшую кровь
сквозь кислородный аппарат целительного леса.
Но таял на глазах «подарочный» запас продуктов,
и надо было что-то предпринять.

Припомнился ночной рассказ Ивана моего,
когда он по замерзшему ручью
ходил в какую-то воинскую часть на встречу
с приятелем давнишним.

Пораньше встав и прихватив в дорогу суковатый шест,
направился вниз по течению ручья в надежде отыскать
и расспросить мне незнакомого служаку Тюменькова.
О, это был соленый марафон, похлеще бишь того, когда
противилась познанию вся фауна и флора леса.

Повсюду выступала мокрота подземных жил, и
 приходилось сырость обходить иль пробираться до сухого места
 по шесту,
 скользя и падая в опасную трясиину,
 боясь из виду потерять петляющий ручей.
 Другим ориентиром служили мне следы копыт лосей и кабанов,
 что по ночам ходили к водопою.
 Ручей все шире становился и, благо, появился спасительный ивняк,
 а выше — непроходимо жгучая крапива.
 Она секла бесчувственные руки,
 нещадно жгла через одежду тело и доставала до горящего лица.
 И, наконец, я выбрался к большой воде,
 в стремительных потоках-ручейках
 она была очередной, но радостной преградой.
 На противоположном берегу виднелись в ряд стоящие бараки —
 десятка полтора и два ангара — весь городок в тиши безлюдной.
 Два щупленьких солдата удили рыбу и, глядя в сторону мою,
 нахально ухмылялись.
 В грязи заляпанный от головы до пят, я выглядел весьма картинно.
 Но как добраться до реки? Травой плетенкой заросший
 потрясучий берег
 позволил мне приблизиться к воде коленопреклоненным.
 В холодной обжигающей реке я ощутил блаженство
 в разгоряченном и саднящем теле.
 На берегу, отжав одежду, заметил, что река, как жертву приняла
 лапшою ставшие румынские ботинки.
 Когда пришел в себя, солдаты удочки смотали,
 и я поплелся с ними в часть.
 На проходной меня лениво ожидал сияющий в значках
 чернявый прапор.
 Я долго объяснялся: где служил, откуда, как, зачем сюда причалил
 и почему без паспорта гуляю?
 Когда напомнил в третий раз про Тюменькова и деда-лесника,
 позвали лейтенанта молодого.
 Дальнейший разговор продолжился в столовой за едой,
 где, к огорчению,
 узнал, что старшина-сверхсрочник, — бывалый на фронтах вояка,
 с отбытием полка в сугубо беспокойные «юга»,
 подался на гражданку, а старикан, лесник-чудак, давно не появлялся.
 В подарок получив разбитые десантские ботинки,
 отправился с солдатом
 до стратегической бетонки, что пролегала километрах в трех.
 И подождав часок-другой, с КАМАЗом — лесовозом я двинулся
 «несолоно хлебавши, восвояси»...

ХІІІ

Кто знает, как живет завод, тому известно, чем в цехах прессуют время.
 Там год на год походит, будто братья-близнецы, там и
 народ становится похожим
 не только одинаковостью приемов, шуток, разговором,
 прическами и бренностью жилья,

но даже строчками всевозрастных морщин на лицах.
По ним читай всю биографию страны от потных пятилеток до
сногшибательных реформ, кантующих весь жизненный уклад,
реформ, похожих на грабеж среди бела дня.
Но только там, в цехах рождается коллективный разум, где нет ни зависти,
ни склок, ни фальши, ее закваска зреет в заведениях других.
По мне жизнь сносною была, но, видно, в ней не те крутились
шестеренки,

и надо было механизм менять...
Какой-то ушлый грек, как говорится, «на корню»,
купил и наш задымленный заводик, дающий удобрения полям и
лисий хвост для украшения неба.
И те, кому уж 50, неожиданно выпали в осадок.
А в утешение за долгий труд все получили по сереге вознаграждения.
Я долго отрицал свою ненужность, но через три неполных года,
проев дары и тихий уголок, стал думать,

где искать пристанища другого.
Та жизнь, что боком подползла ко мне, никак со мной не стыковалась.
Мне захотелось вдруг покинуть время, несущее со всех сторон
кричаще раздевающую пошлость.
Не видеть этих красных пиджаков и лиц пунцового покроя.
Я прятался от всех, я вовсе не хотел в свидетели попасть
и тупо унижение созерцать знакомых, дорогих людей.
И как-то сидя у окна, открылось неизвестное доселе, став зеркалом,
свое же откровение души, задав себе вопрос:
«Кто я, что есть во мне, не высоко ли поднял планку, требуя от жизни
сверх того, чего и сам не стою?»

И получил ответ. Живя безвыездно, в плену высоких стен я потерял
возможность хотя бы изредка взглянуть на отраженного себя в воде,
оно поглубже всех зеркальных отражений.

Мне так мучительно мечталось освежить лицо
зарядом вспышек молний
и заодно затеплить искру Божию, у каждого она в душе,
но стал ее гасить я алкоголем.

Мне так хотелось почерпнуть побольше силы воли в колодцах детства,
что стал терять я ощущение веселости глубинной, а с ней смысл бытия,
Мое пристанище должно быть там, где самая красивая река
омывает тела и души людей, а спозаранку гордый колокольный звон
провожает мечту людей под небеса на освященье.

Где живописные холмы, даже под снегом дышат полной грудью
и дарят путнику ароматы земляники.
Где встретившийся прохожий первый поспешит сказать тебе:
«Мил человек, здравствуй!».

Неся на лице своем отсвет иконной чистоты.

Где шик, обжорство, богатство, лимузины, гульба, безверие
всегда считалось за Подло...

И, получив свое же разрешение, собрав продукты, книги, инструмент,
тряпье, навьюченным я влез в электропоезд,
что вдвое сократил до станции терпенье пассажиров.
Автобус под названием «буханка»

всего за полчаса до места докатил.

И что я вижу?! Безлюдный перекресток, ведущий в никуда, лежащий,
словно черный крест на бывшем поселеньи.

Моя родная деревенька, тебя ни я, ни кто другой,

никто-никто не защитил.

Ты стала малой Атлантидой, погрузившись в пучину невзгод.

Лишь ржавое название на щитке «Никольское» осталось.

Ты в судный день под стены двух столиц без сдачи отдала
всех до одного ходячих мужиков. А овдовев, твои бабенки
три пятилетки восседали на тронах жутких тракторов.

И каждый раз, переводя натужно рычаги и частое дыханье,
молитвенно шептали:

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

И отдавали до последней крохи израненной отчизне.

Страна моя, не так уж ты мала, чтоб делать мелкие ошибки.

Вот и теперь, отдав соседям теплые моря, придвинулась
к седому океану,

чтоб поучиться твердости поморов.

Подвинулся и я. Забудем малую деревню, забудем теплый Крым,
как забывали русскую Аляску.

Сказав последнее «прости» родным местам, отправился я

в поиски дремучего наследства, в пути себя готовя к новизне.

Мне предстояло жить законами обитателей леса, где на ветвях власти

хотел бы я видеть певчих птиц, а не грачей и дятлов,

надеясь, что по месту жительства в глуши, на тех деревьях

не скоро вырастут зла горькие плоды.

Безденежье меня не станет угнетать, поскольку на дармовом жилье

я сэкономлю на обед и получу от собственных реформ прибавку.

В моем послужном списке немало всяческих профессий.

Хотелось мне иметь такую должность, которая позволит правду
и только правду говорить.

Вполне мне подойдет стать осветителем поляны;

негаснущим сознанием

бытия. А на полставки — луночерпием тусклого света,

поливать им тропинки заблудившимся в лесу грибников.

Не помешает мне никто устроиться водопроводчиком у туч

и влагу направлять к увядшим деревцам.

В конце концов, я мог бы превратиться в лихого коммерсанта.

А если что, не постыжусь принимать подаяния леса

и сдавать их по низкой цене:

аптекаам — травы, грибы — на рынок, а желуди — кофейным мастерам.

Пока мечтал и строил планы, приблизился к знакомцу — родничку.

Он вырос, пополнил, стал говорливей. Омытые кругляшки галек на дне

монетами лежали всяческих достоинств. Вода, куда там минералке

до вкусоностей живительной воды!

Тропинка к дому стала неприметной и трудно было угадать поляну.

Вся в плешинах кострищ, по кругу.

В высокой пижме покоился трудяга-огород.

Но домик весь в плену дикушек-яблонь на радость оказался целым,

хотя весь почернел и покосился.

Казалось, кто-то силой к нему придвинул великаншу — ель.

Ветвями колкими она чесала спину дома.
Найдя в избе охотничьи гильзы, пытался я представить
гостя с ружьем
и мерой доброты его. Какими будут наши отношения, явись он вдруг?
Прошло уже немало лет и зим,
без рук людских наверняка б домишко разорился.
Прикинув, что до осени не встретить мне любителей охоты,
стал место выбирать пожиткам принесенным.
От хорошо протопленной печурки в избушке стало поуютней,
и может, потому усталость отдыха просила.
Но разве можно не отметить и свой приход, и обновленный для меня
таинственно-задумчивый закат?
Напялив на себя штормовку, на несколько часов покинул я избенку,
где предстояло мне дней долгих причащенье.
Как поучительно умна природа, но до чего ж в ней
некудышен человек?
Освободясь от мишуры житейской, тогда лишь я открою тайну,
о чем так тяжело и печально шумит осенний лес...
Поляна с кругляшами от кострищ представилась мне вновь
гигантским циферблатом, с одной лишь стрелкой посредине —
высохшим стволом березы,
где время от нее бросало тень и то в дневное время...
Над темной кромкой леса вдруг показалась, страдая любопытством,
пожарно-красная громадина луна, и мир затих замороженным.
Назавтра встану раньше всех я встречать второе разогретое светило.
И на пороге, наверно, от восторга закричу: «Здравствуйте, птицы!»
Ну, а сейчас на меня катит гипноз небосвода в крупных ромашках,
и я становлюсь на время молекулой во плоти.
Пока мне не известны посевы звезд, томящихся
в ожидании названий и имен, получаемых в подарок от землян,
но я и без ученых точно знаю, что там, в прохладной вышине,
в созвездии Стрельца, в дивизионной планете 189
живет он, навечно прописавшийся в памяти моей,
мой самый дорогой отец.

